Марина Важова

Любаха

Повесть

1. Батя

— Любка, посмотри, ушел отец?

Голос матери. Бежать скорее: ведь если он ушел, то на фабрику за получкой. И тут Любаха — не последний человек. Сам он получку не донесет и вообще не придет сегодня домой. Будет шататься по своим друзьям, «дружочкам», пока не завалится где-нибудь.

Если Любка упустит его уход... Но такого уже года два не бывало, чтобы она не пошла за батькой. Поначалу крадучись, по другой стороне улицы, с нарочно взятой корзинкой, в которой мамка приносит яйца от погорелок. Потом — ближе к фабричным баракам — следом идет как ни в чем не бывало. И почти у самой конторы догоняет и, забегая вперед, веселую рожу строит. Мол, ты ведь понимаешь, батя, я полностью на твоей стороне, тоже люблю погулять и к «дружочкам» с тобой могу сходить. Но маманька просит... Ты ведь знаешь, больна она, чахотка, ей масло нужно, ви-та-ми-ны. А ты у нас один. Так что не обижайся, слышь? И за руку его берет, будто он маленький, а она большая.

Батя, он что? Он ничего и никогда. Слова грубого или упреков от него не бывает. Вот рассказать что смешное или душевное, тут он мастак. Или утешать. Никто так не может утешать, как наш батя. Мамка прямо говорит: «Ты меня одним утешением взял». Еще отец петь любит, почитай, слова всех песен знает. Кто бы ни запел — куплет да припев, а остального не помнят. А батяня все помнит, будто в его голове записи сделаны. Голос не сильный, но правильный, мелодию не врет. Только теперь, если он дома поет, стало быть, пьяный. А тогда нам не до песен, прикидываем, как месяц прожить.

Ведь батя только с получки и напивается, а так — ни боже мой. Мастер он хороший, начальство его ценит, чуть что: «Иван Казимирович, зайдите к главному инженеру поскорее». А это значит лишь одно: у главного инженера что-то стряслось, и только наш отец ему способен помочь. Потом премию бате дадут. С премии Любахе всегда гостинец. Конфеты, к примеру, или слойки. Да и так, без премии, если батю не упустить, обязательно в продмаг зайдут. Только отец скажет просяще: «Любах, тебе

Важова Марина Александровна — художник, член СХ России. Родилась в Ленинграде в 1953 году. Окончила Институт им.И.Е.Репина Академии художеств СССР (1985). Автор книг «Сны Петербурга» (2003), «Он меня больше не любит» (2010), «Сны и знамения» (2011) и др. Живет в Санкт-Петербурге и Выборге.

ирисок, а мне две кружки пива, идет?» Пива можно, оно недорогое, и мамка сердиться не будет. Лишь пошутит, как вернутся: «Ну что, заговорщики, натрескались?»

Только как же это мамка может шутить? Она ж померла, еще до войны. Чахотка ее успокоила, совсем успокоила. Скромненький крест на старом кладбище, могилка у самой речки Смоленки. Так ведь и батьки нет. Бомбой его в сорок втором зацепило, когда за лошадью подбитой пошел. «Все, девки, скоро сыты будем. У Ижорской заставы конягу подстрелили мессер*а*. Надо скорее бечь, пока не пронюхали, мясцом запасаться». Вот и добегался. Сам сгинул, так и не нашли, не схоронили. Люди видели, как все было, рассказали. А то бы числился в «безвестипропавших».

И как он в эту байку поверил? Ведь ребенку ясно — никакой лошади в помине нет. Все они уж давно съедены. Нет, не все, оказывается. Лошадь маршала Буденного на законном отдыхе, у маршала на даче травку щипала. Вернее, сено, ведь зима. А тут приспичило ее переводить. В целях государственной безопасности. Через весь город вели — и ничего. А как к заставе подходить стали — мессер*а* внезапно налетели — и ну стрелять. Прямо в голову той лошади, она повалилась и лежит. А сопровождающий искать телефон принялся, чтоб доложить о кончине. Потому никто и не знает про лошадь, что секретная она.

Вот враки, слушать невозможно, до чего батька поглупел после мамкиной смерти. Верит в сказки, да еще сам их придумывает. Только нам-то как теперь? Мне, Нинке и Насте? Мы ведь одни, ни отца, ни матери. Крестная в круглосуточном дежурстве на седьмой ТЭЦ, остальные все эвакуировались и самовар с собой взяли. Ни еды, ни горячего, ни дров, а ведь декабрь только — до весны далеко. Холодно, холодно-то как! Дует отовсюду. Остается только лежать под ворохом тряпья и ждать. А чего ждать-то? Ведь не придет никто, так и замерзнем.

Нет, кто-то идет. Шаги по лестнице. А если пройдут мимо, что тогда? Кричать, звать надо. Вдруг это санитары проверяют, нет ли мертвых по квартирам. Только крика не получается. Сип и тоненький вой. Шаги все ближе, идут сюда, слава богу. Лишь бы дверь открыли, мимо не прошли. «И-и-и-и...» Вот дверь заскрипела, и такой родной, такой знакомый голос:

— Ну что, Любаха, чего ты распелась?

Все же батя, родненький, вернулся живой и несет что-то в руках — Любахе несет поесть. Ну, теперь жить будем, теперь все плохое позади. Батя жив — наврали про бомбу, — лошади кусок достался, запах вкусный такой по всей комнате. Где там Нинка, Настя? Вставайте, лодырницы!..

— Давай, Любаха, садись, поедим. Кашу будешь?

— Батя, ты?

— Я, я, а кто же еще? Так будешь кашу? Вчера просила, вот и сварили. Пшенную с тыквой, как ты любишь...

Сорока-воровка кашу варила,
На порог скакала, гостей созывала.
Гости не бывали, каши не едали,
Сорокину кашу Любахе отдали.

Нет, не батькин голос, хоть и знакомый. Но ведь кто-то рядом сидит, ложку ей в руку сует, а в другую — хлеба кусок. Хлеб настоящий, сухой, а душистый! Как до войны. И каша в миске почти рядом с лицом. Там масло — его Любаха хорошо видит — желтое, не совсем растаяло, но это еще и лучше: можно ложкой зачерпнуть и съесть так. Вкуснотища!

— А другие уже поели?

— Поели, Любаха, все поели, одна ты осталась. Давай ешь, ведь вкусно?

— Очень вкусно, очень. Спасибо.

Но батей называть не стоит. Скорее всего — не батя это вовсе. Знакомый человек, наверно, тут и живет. И добрый. Вон сколько каши принес, ей и не съесть сразу. Да и спать так охота...

— Ну, поспи, поспи, Любаха.

По голове так легонечко погладил и ушел вроде. Полежать тихонько, будто спит. Если ушел, надо встать и посмотреть, оставил он кашу или нет. И где он ее взял, а главное — хлеб! Хлеб довоенный, свежий и мягкий такой. Если с собой унес, плохо. Вряд ли еще раз принесет, ведь голод кругом, ой какой голод! И холодно, ноги-руки заледенели...

— А наши все где? — надо спросить, вдруг не ушел еще.

— Ромка в армии, Вовчик на теннис ушел, — неожиданно отзывается. Значит, сидел тихонько, прислушивался. — Оля с классом в Питер на экскурсию поехала, а Томася на работе.

Все каких-то незнакомых называет — точно не батя. Это его родня, а мои-то, мои: Настя, и Нинка, и Ленка, она на торфоразработках, редко приезжает. А вдруг приехала? Табачку привезла, самокрутки крутить будем, накуримся, чтобы есть не так хотелось.

— А Ленка-то не приехала?

— Какая Ленка? Что ты, Любаха, никакой Ленки у нас нет, спи. Я пойду, тоже лягу, после ночной поспать надо. Так что ты не очень-то шуми. Я зайду еще.

Тихо. Ушел, значит. Теперь скорее встать и поискать, куда он кашу и хлеб положил. Вот только встать никак не получается. Тряпья на нее столько навалено, что не выбраться. А ты не торопись, Любка, не спеши, потихонечку. Вот одну ногу вытащила и с кровати спустила. Теперь другую освобождай. Ну, вставай, вставай! Что ж ты расселась, искать надо, куда еда спрятана. Руками оттолкнись от кровати и иди. Да господи же, совсем от голода обессилела, ни встать, ни подняться! Так и помереть недолго. Ладно, полежать немного, сил набраться и вставать. Встанет, встанет, всегда вставала и сегодня встанет. Только отдохнет сначала.

Им, большим, хорошо. Рабочая карточка — это двести пятьдесят граммов хлеба. Почти в два раза больше, чем Любахина иждивенческая. Скорее бы работать пойти. К бате на фабрику ученицей — сразу рабочую дадут, а потом и усиленный паек, как крестной, за то, что она сутками со своей ТЭЦ не вылезает.

Вот придут они с батей в отдел кадров, а там уже про нее знают и ждут. Смена, что ли, пришла? Это Марья Петровна так Любку зовет — сменой. А теперь и правда смена, раз ученицей берут. С батей, конечно, было бы лучше, но у него дело тонкое, надо учиться много, чтобы все знать. Он ведь наладчик, а это все равно что инженер, только еще почетней, рабочие профессии все почетные.

Можно на красильщицу выучиться — ткани красить в разные цвета, а можно на ворсовщицу, они больше получают, там работа вредная, пыли ворсовой много. Зато молоко дают. В цеху станки в три ряда стоят, и за каждым две работницы. Одной никак не успеть, станки работают быстро, тянут ткань с рулона на рулон, а сверху железными щетками потряхивают, концы у них крючком загнуты, ворс поднимают и начесывают. Следить надо, чтобы ткань равномерно шла, да чтобы в ворс ничего не попало и пропуска не было. Внимательно нужно смотреть, а чуть что — останавливать и исправлять. Но Любаха справится, лишь бы взяли. Там, кроме хлеба, затируху дают, бывает, что и с кукурузной мукой. Да масло раз в месяц полстакана, из чего — непонятно, но все же на нем можно картошку мороженую поджарить. Только вряд ли она осталась, эта картошка, еще до зимы всю подъели...

Сейчас вздремнет, силы восстановит и пойдет искать, где хлеб и каша. Сказал, что зайдет еще, да обманывает, наверно. Зачем ему худая, бессильная девчонка, вся в поносе

и вшах? Или это у Нинки вши и понос? Все путается, ничего голова не держит. Вот ведь как получилось... А мечтала о балете, в кино сниматься. Все они, фашисты, измором хотят взять, да только не на тех напали, не отломится им ничего. Ничего. Ничего...

* * *

В отличие от брата Серёжки и сестер-двойняшек Томы и Лёли, Маруся всю жизнь прожила с бабушкой в городе, а к маме надолго приезжала только летом. Так совпало: мамина новая семья, отсутствие жилья и Марусина внезапная тяжелая болезнь. Мама с новым мужем, дядей Сашей, переехали в областную глушь без врачей и школы. Бабушка вцепилась в Марусю и категорически отказалась ее отпускать. А смерть братика Лёвушки, названного в честь пропавшего без вести бабушкиного сына, подтвердила ее мрачные опасения. Лёвушка умер от крупозного воспаления легких, принятого по ошибке врачами скорой помощи за дизентерию.

Эта смерть упрочила бабушкины позиции, и никто уже больше никогда не заговаривал о том, чтобы Марусю маме отдать. Хотя и школа в поселке появилась, и медпункт. Тень годовалого брата, умершего из-за неправильного диагноза, высилась не только над Марусей с ее пороком сердца, но и над новорожденными маленькими двойняшками, которых бабушка, не будь их двое, обязательно бы забрала себе.

Все детство мама для Маруси была как праздничная фея, которая возникала внезапно и своей волшебной палочкой начинала творить чудеса. У Маруси появлялись новые платья, сшитые мамиными руками, хорошее покупное пальто, а не потертые на обшлагах коротковатые пальтухи, переданные от дальних родственников бабушки. Но главное, конечно, не вещи — бог с ними! — главное, что какое-то время она ощущала мамину любовь, окрашенную чувством вины и потому особенно нежную.

Мама жила на Карельском перешейке, и сначала нужно было доехать до Рощино, а это больше часа пути, потом дождаться автобуса и ехать еще часа два. И тогда только доедешь до мамы. Под конец ничего уже не помогало, и Марусю тошнило и рвало прямо в новые пестрые рукавицы. В таком состоянии ее вытаскивали из автобуса — мама и вытаскивала, приговаривая: «Все хорошо, хорошо, приехала моя детка». Но это в зимние каникулы. А летом ходило больше автобусов, они были новыми, и Марусю не так укачивало, особенно если удавалось сесть спереди и неуклонно смотреть вперед, на дорогу. Зато потом — целое лето! И чего только в это лето не происходило! Вольная воля, простор и никаких тебе запретов: туда не ходи, сюда не смотри. С мамой все было проще, все было по душе.

Для сестер Маруся — образец всех мыслимых достоинств: и красавица, и отличница, и певунья. Ореол ленинградской жизни только усиливал ее совершенства. Сестренки смотрели ей в рот: она засмеется — они хохочут, она в печали — им не велено даже подходить, лишь издали сочувствуют.

Другая параллельная жизнь с частицей «бы», счастливые, но быстро пролетающие дни, слезы при расставании, мамино лицо за окном автобуса, увозящего ее, Марусю, в будничную и такую правильную действительность...

2. Карточки

— Чего ты шлындраешь туда-сюда, черт длинный! Всю квартиру выстудишь!

Это Настя, она еще может встать, у нее пока силы остались. И есть она может. А Нинка уже не может. Ноги безобразно распухли, лежит третий день, а паек ни за что не отдаст. Выть начинает сразу, как Любка из булочной приходит: свою долю требует. Понюхает, в руках подержит и под подушку запихнет. Уговаривала ее Любаха в долг дать, все равно ведь не ест — ни в какую. Визжит, злые слезы из глаз так и текут, руками-спичками за подушку держится и трясется. Ничего не стоит у нее все забрать,

да жалко Нинку. Хоть и старшая она, но с детства какая-то малахольная, видно, от мамки легкие слабые, все по больницам и санаториям. Так что они в одном классе учатся, хотя Нинка на три года старше. Вернее, учились, теперь какая школа... Они погодки: Нинка, Настя и Любаха. Батя все мальчика хотел, а после того как три девки родились и мамка болеть начала, свои мечты оставил, на работе «горел».

Теперь Любаха, хоть и самая младшая, но самая главная. На ней весь дом держится. Нинка долго не протянет, она уже второй день сухая лежит, не ест, не пьет. Как помрет, они с Настей склад под подушкой поровну поделят и наедятся, может, хоть раз. Только когда это еще будет, а есть сейчас так хочется! Думается, вот только бы один разок до отвала наесться, а там можно и опять поголодать. Лишь бы паек увеличили.

Ходят слухи, что американцы второй фронт откроют, тушенки и рыбных консервов навезут. Прямо с самолетов скидывать мешки будут — вот потеха! Мешки летят, как бомбы со свистом, а ты и рад. Говорят, в железных банках леденцы монпансье. А банок таких — несколько вагонов. Это все Любаха в очереди за хлебом наслушалась. Там и не такое рассказывают. Еле достоишь до своей пайки, тут же на месте и съешь. Остальное сестрам несешь с тяжелым сердцем, ноги совсем перестают двигаться.

Раньше им Ленушка карточки отоваривала, но за это они отдавали ей весь табак. Она пристрастилась курить, чтобы голод заглушать, да только ведь табак можно на хлеб поменять или на сахар. Так что теперь Любаха сама продукты приносит. Ей все равно не лежится, в голове как будто шарманка крутится, ноги сами куда-то идут. А Ленушку на торфоразработки забрали, она теперь в военной форме и дома почти не бывает. Они, Саватеевы, все такие — везунчики. Хоть и родня, но с гонором. Ленумшка среди них еще самая добрая и веселая, а остальные в эвакуацию уехали и самовар с собой взяли. Последний самовар был, и тот увезли...

— Черт длинный, чего без толку студишь комнату, житья от тебя нет!

Что-то Настя сегодня не такая бойкая, и голос слабый. Самое поганое дело — лежать. Если залег — конец близок. Так все говорят, только потом сами и ложатся. Глаза такие стеклянные становятся, неподвижные. Даже не верится, что еще на прошлой неделе про Самарканд рассказывали, тоже туда собирались, как только блокаду прорвут. Это соседка, тетя Вера. Осталась квартиру сторожить, да неделю назад на саночках медбрат ее вывозил, в простыню закутанную. Еле видно, что человек лежит, будто тоненький матрасик.

Любаха ни за что не ляжет. Утром, еще затемно, она воды принесет с Ковша — самая близкая прорубь, ее курсанты-матросики пробивают. Потом по пустым квартирам порыщет — где еще мебель какая осталась или книги, чтобы печку-голландку затопить. Они теперь в комнатке крестной живут для экономии тепла. Как затопит, согреется вода, заварит чай — и завтракать пожалуйте. Сегодня на роль чая сгодилась дубовая кора, которую в коридоре на шестом этаже за батареей нашла. Горечь ужасная, конечно, но цвет, как у чая, и полезно для десен, а то зубы все шатаются. Нинка пить не стала, а Настя полстакана выпила, да Любку все ругала, что отравит их она когда-нибудь своими чаями.

Карточки на столе, сетка еще с вечера в кармане старенькой облезлой кротовой шубки — Ленушкино наследство, у Бологовских никаких шуб отродясь не водилось. Настя не велит брать все карточки, а только на день — потерять можно или украдут. Но сегодня Любаха возьмет все. Уже договорилась с одной надежной женщиной, у нее сестра хлеборезкой работает и сможет весь хлеб до конца месяца выдать сразу. Об этом все постоянно говорят. Вот, мол, не сегодня-завтра карточки отменят, пропадут они, а хлеб — неизвестно будет ли. Только вперед не дают, строго запрещено. Но если сестра хлеборезка, то ей никто не указ. Они там все крепкие, сытые, голосами грубыми народ осаживают, а сами крошки подбирают — и в рот. Женщина, конечно,

не будет даром стараться: одну из трех паек придется ей отдать. Но лишь бы получить, а там разберемся. Может, на меньшее удастся договориться.

Любаха придет домой с тяжелой сеткой. Эй, крикнет, Нинка, Настя, вставайте, лодырницы, посмотрите, что я вам принесла! Настя заругает сначала, но потом спасибо скажет, как поедят они вволю хлебушка да с горячим чаем. Тетка, та обещала настоящего чайку в пакетик отсыпать, сестре ее раз в месяц дают, да она чай не пьет, все больше спирт разбавленный. Только бы не забыла тетка, только бы с кем другим не договорилась — охотников много.

По узкому переулку, по темнеющей в свете наступающего дня тропинке, балансируя на обледенелых помоях, — к заветному огоньку угловой булочной. Неясной массой народ колышется, кашлем и приглушенным разговором обозначая свое присутствие. Сегодня не надо спрашивать, кто последний. Надо тетку искать. Договаривались держаться ближе к скверу, где народу поменьше, а то застукают, и может скандал получиться: все так хотят — хлеб вперед получить. А вдруг Любаха ее не узнает, вдруг тетка переоденется в другое пальто, платок сменит? Даже сердце заколотилось, под горло забило от ужаса, что такое может случиться.

Вот кто-то черный стоит, неподвижно, как замороженный. Но нет, двинулась фигура и прямо — к ней, Любахе.

— Принесла? — И руку тянет.

— Вот, на троих, до конца месяца. Только нельзя ли...

— Сетка где? — Голос безучастный, не такой, как вчера, когда про чай и спирт разбавленный рассказывала.

Да та ли это тетка? Ну-ка, в лицо посмотреть. Та, та самая, вот и усики на верхней губе, и кольцо тусклым блестит на безымянном пальце. Только молчит как-то странно. Хотя ничего и странного: теперь не до разговоров, они только повредить могут. Теперь надо дело делать.

— К дверям не лезь, я сюда принесу.

И вмиг протиснулась сквозь толпу и в черном проеме исчезла. Нет уж, надо у входа ждать, чтобы не упустить. Хоть тетка и надежная — крестную знает и батю помнит — но сейчас всяк за себя. Так лучше будет: встретит ее у дверей, а делить к скверу пойдут, чтоб никто не видел, а то и отнять могут.

Забыла напомнить про чай! Оробела почему-то, а вчера так душевно было, так смешно сестру-хлеборезку изображала, которую все обмануть норовят, так что приглядывать за ней приходится. Но это не помогает, от доброты и рассеянности она то перевесит хлеба, то иждивенцам как на рабочую карточку выдаст — неприятности потом на работе. Судом грозят, но на ее жалкое лицо взглянут — прощают: ведь не ворует она, а сроду такая жалостливая.

Вчера все было понятно и легко. Сегодня как-то тревожно. Карточки отдала... А вдруг обманет, выйдет и скажет, что в первый раз ее видит, никаких карточек не брала, все Любахе с голодухи померещилось. И ведь поверят ей, взрослой женщине, а не Любке в обтрепанной кротовой шубке, с большими, красными от мороза руками и неистребимым запахом мочи. Но хлеб-то, хлеб! Откуда, спрашивается, у тетки так много хлеба? Тут все и раскроется, люди поймут! Хлеб, может, и вернуть придется, но карточки ей уж точно отдадут. Не имеют права забрать!

Эх, зря она это затеяла! Не отменят карточки, война еще долго не закончится, хлеб нужен каждый день. А то одна рассказывала, что ее соседка съела свой хлеб, потом за своих умерших ночью детей-двойняшек съела, и тут же ее скрутило — заворот кишок, она и померла. Не, Любка так не поступит, потихоньку будет есть, на части все разделит и обязательно с чаем. Про чай-то забыла напомнить! Наверняка тетка все забудет, пропало теперь настоящее чаепитие!

Что-то долго она не выходит. Ведь если сестра — хлеборезка, должна мигом отпустить, и не за прилавком, а в кладовке справа. Любаха видела, как в эту кладовку

люди иногда заходят, а из очереди кто сунулся — чуть не с кулаками вытурили, грозили милицией.

Что ж такое? Куда она подевалась? Вот уж и народу мало осталось, надо зайти. Если она там сидит и с сестрой язык чешет, Любаха ей паек не оставит, так не договаривались. Но где ж она? Нет тетки, как сквозь землю провалилась. Может, все же в кладовке?

— Куда лезешь?! Эй ты, длинная, куда тебя несет?! Где твои карточки?

Вроде не злая, и голос усталый, и худая, как все. Сказать, что ли, все равно уже ясно, что тетка мошенница.

— У меня карточки... Женщина обещала... Жду почти час...

— Смотри, Рая, опять девку обманули, выманили карточки. Я давно говорю, запирать надо черный ход после разгрузки. Ну, что теперь делать будешь, балда глупая? Сколько карточек-то отдала? Небось, до конца месяца? Две недели как жить теперь будешь? Есть родственники?

Черный ход, черный ход, вот куда она делась... Получила весь хлеб и удрала. А как же она получила весь хлеб вперед? Значит, кто-то у нее здесь есть, сообщник есть. Может, и эта, с виду добрая. Все они добрые, когда выманить последнее хотят.

— Это вы, вы мой хлеб ей дали за месяц вперед! Отдайте мой паек, отдайте сейчас же, у меня сестры ждут — Нинка, Настя! Как же они?! Как же мы?!.

— Ты что, Любаха, тут наделала? Котлеты с макаронами расшвыряла! Ну что тебя, как маленькую, кормить, что ли? В блокаду за кусочком хлеба на другой конец города ходили, а теперь — еду на пол бросать?!

— Я не бросала, это они расшвыряли. Как я могу еду бросать, если я голодная? Голод-ная, и Настя голодная, а Нинка вот-вот помрет. Дайте хоть что-нибудь, хоть маленький кусочек. А-а-а-а...

— Ну, ладно, не плачь, все в порядке. Видишь, я везде убрала. Хорошо хоть у соседей собака есть. Сейчас тебе драников принесу. Будешь драники есть?

— Буду. Все буду, я голодная. А Нинке и Насте как же?

— Всем дадим, не волнуйся, Любаха.

* * *

В Ленинград мама приезжала редко. Отвыкла от города, разлюбила его мрачноватое спокойствие, называя «каменным мешком». Да и к деревенской жизни попривыкла. В деревне она — городская и фасон держит. Работы тяжелой не гнушается, но уж после работы — никаких гвоздей! Оденется, волосы завитые поправит, пробкой от духов «Красная Москва» за ушами ткнет, гитару в руки — и в гости. Сколько дядя Саша ни уговаривал, ни стращал, но ее с пути не сдвинешь. Только посмотрит так внимательно своим особенным взглядом и ничего не скажет. Зато в поселке все знали: если Любку позвать, то веселья хватит до утра. Но за мужиками надо приглядывать, они от нее прямо дуреют, готовы гитарку следом таскать, подпевать ей, слов не зная. В клуб на танцы, куда и дорогу забыли, за ней волокутся. А если дядя Саша уж очень приставать начинает, чтоб домой шла, — водочки ему подливают со всех сторон, пока не заснет где-нибудь в уголке.

А праздник если настоящий — Первое мая или Седьмое ноября, — мама всегда в президиуме. Единственная блокадница на всю деревню, да еще член партии. Медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд» к красной кофточке приколет и сияет на весь клуб. Но вечером все это снимается, достается из шкафа крепдешиновое сиреневое в мелкий горошек платье, и до утра по поселку раздаются гитарные переборы и проникновенный мамин голос почему-то с небольшим иностранным акцентом:

Кто в нашем крае
Чилиту не знает?
Она так умна и прекрасна,
И вспыльчива так, и властна,
Что ей возражать опасно...

Марусю в клуб мама впервые взяла в шестом классе, на зимних каникулах. Как раз новое платье ей было сшито — мамой, конечно: синее, шерстяное, с плиссированной юбкой и белым, с вышивкой, воротничком. От непривычной обстановки Маруся сидела примолкшая, возле мамы держалась. А та только отбривала солдатиков из соседнего военного городка, да так молниеносно и остроумно, что народ вокруг гоготал, про танцы забыв. И тут Маруся обнаружила, что перед ней стоит военный и что-то говорит. Наверно, он маме говорит, с чего бы ему к девчонке обращаться?

— Разрешите вас пригласить на танец.

Все же это он ей. Маруся от смущения покраснела и голову опустила. Тогда военный уже к маме: мол, позвольте вашу дочку пригласить. Мама тоже, видно, растерялась. Она привыкла, что ее все приглашают, а тут на тебе!

— Что ж, иди, потанцуй с офицером, — произносит, еле сдерживая смех и нарочито выделяя последнее слово.

Ну, танцем это было назвать трудно, топтались больше на месте, чтоб у мамы на глазах. Как тот офицер выглядел, Маруся так и не узнала, с опущенной головой весь танец провела, на все вопросы отвечая лаконично: да, нет. И только поворачивая голову в мамину сторону, смущенно хмыкала.

— До чего ты на Рыжова похожа, прямо вылитая. И повадки, и взгляд, особенно усмешечка его знаменитая. Только по усмешечке и скучаю.

Рыжов — это Марусин отец. Она его не помнит: родители разошлись, когда ей было три года. Но мама много рассказывала. Как познакомилась с ним, как встречались в одной компании, как он ее на гитаре играть научил, а потом сказал, что такую хорошую ученицу не хотел бы потерять, и замуж позвал. Он был морским офицером, успел повоевать. Да и сейчас, наверное, где-то живет, только никаких вестей о себе не дает. Пока Маруся была маленькой, она так мечтала об отце! Все представляла, как он звонит в дверь, а она ему открывает и спрашивает: «Вам кого?» А сама уже знает — ведь сколько раз фотографии перебирала. Вот он с мамой в гостях. На маме его китель и фуражка — они ей очень идут. А отец такой высокий, кудрявый, обнимает маму и к щеке прижимается. Только повзрослев, перестала Маруся отца ждать, а потом и вовсе боялась: вдруг приедет, старый, скучный, к ней жить. Нет уж, не надо.

3. Больница

— Эй, ты чего здесь сидишь? Замерзнешь ведь.

— У меня... Мне...

— Карточки есть?

— Нету, украли карточки, обещали...

Но женщина уже не слушает, открыла дверь и вошла, отвернувшись от Любахи. Наверное, сестричка, белый подол из-под тулупа торчит, молодая еще. Не хотят ее в больницу без карточек брать, и слушать не хотят. Вот возьмет и помрет тут прямо у дверей. Небось начальство не похвалит.

Сон убаюкивает, снег заволакивает. Тепло так, хорошо, спокойно. Ничуть умирать не страшно, зря боялась, с голодом боролась, суетилась зачем-то. Хлеб опилочный, чай из дубовой коры — кому это надо? Любахе больше не надо. Здесь останется. А как же Нинка с Настей без нее? Так они все равно помрут — хлеба-то нет.

А если крестная с дежурства придет, то спасет их, или Ленушка приедет. Они спасутся, а Любке уже все равно, лишь бы полежать, чтобы не гнали и не трогали.

— Так, кто у нас здесь сидит? Ты живая или нет?

— Живая...

— Почему под дверями? — Голос мужской, приятный, не грубый. Этот может помочь.

— Меня без карточек не берут.

— Ах, вот как. Понятно...

Ушел. Зря только разбудил. Сон такой хороший Любахе снился. Будто батя пришел домой после получки, а в руках большая сумка, с которой они в баню ходят. И достает он из сумки пакеты и банки всякие, и что-то, в промасленную бумагу завернутое. А еще яблоки. Много яблок, красных и блестящих. А они все: мамка, Нинка, Настя и соседский Лёнька сидят за столом и ждут чего-то главного. Потому что, пока это главное батя не достанет, ни к чему прикасаться нельзя — иначе все исчезнет. Они знают и терпят, хотя есть очень хочется. Но вот оно, уже держит батя, в газету завернуто, кирпичиком в руках так ладно сидит. Сейчас батя развернет кирпичик, и они есть начнут, мамка консервный нож приготовила — банки открывать.

Нет, разбудил, черт чернявый. Любаха заметила, что он смуглый, а волосы и глаза темные. Зря только разбудил, так и не узнала, что в бумаге, что за кирпич, без которого есть нельзя... Так это же хлеб был! До войны всегда мамка говорила: не ешь без хлеба. А теперь хлеб — основная еда, без него и есть нечего.

Вот закончится война, батя с фронта придет, Саватеевы из эвакуации возвратятся, крестная и Ленушка дома жить станут — опять квартира оживет. С утра — самовар на столе и весь день не сходит, все кто-то чай пьет. Не квартира, а проходной двор. Так крестная говорит, не нравятся ей эти постоянные застолья и шумные разговоры. И Лёва, сын крестной, возвратится домой. Неважно, что писем давно нет, Любка верит, что с ним все хорошо. Ему только шестнадцать исполнилось, но Лёвка себе два года приписал и на фронт добровольцем ушел.

Все соберутся, значит, за круглым большим столом, мамка свою картофельную запеканку с луком достанет из-под полотенца — теплую еще. Батя по такому случаю, конечно, бутылочку раздобудет, а крестная с работы сахар принесет. Она для сына копила, на работе в шкафчике держала, а домой не несла, чтобы нам соблазна не было. Теперь, раз Лёвка вернулся, сахар — на стол. Патефон заведем, пластинки будем слушать. А потом опять поедим. Ведь война закончилась — можно есть, не экономить. Саватеевы из Самарканда вяленых абрикосов привезут и орехов целый мешок. Ленушке на торфоразработках дадут паек на неделю вперед. Жалеть нечего: раз война кончилась, все наладится.

Только Нинки с Настей нет за столом. Куда же они подевались? Неужто померли, не дождались, когда Любаха им хлеба принесет? Да нет же, вот они, из кухни по коридору идут, и у каждой противень в руках, а на противнях... Пирожки! Маленькие, с золотистой корочкой, какие мамка всегда печет.

— С рисом и яйцом, — говорит Нинка и смеется радостно. А Настя молчит, глаза опустила, стесняется своих распухших ног.

— Дайте-ка нашей младшенькой, нашей Любахе, пирожков попробовать. Ведь если бы не она, не сидеть бы нам здесь и не праздновать, — говорит батя весомо.

Вот он кладет на тарелку два пирожка и к Любке пробирается, но никак не может подойти: то стулья плотно наставлены, то самовар между ними. Что же это такое, почему все мешают, ведь Любаха так еще ничего и не поела. Ведь она голодная, голод-ная...

— Эй, ты как, жива? — опять чернявый. Видать, доктор, стетоскоп на шее поблескивает. Темень кругом, видно, ночь уже, только над дверью лампочка тусклая.

— Пирожки... пирожков хочу...

— Ну-ка, кто там, Егоровна, Катя, быстрее ее в помывочную! И чаю, чаю сладкого сначала дайте! Если уж пирожков хочет, жить будет.

На каталку усадили и везут по длинным коридорам. Свет и тьма полосами перемежаются, аж голова заболела. Вот заехали куда-то в теплый закуток. Шум воды, бормочут что-то меж собой. Одежду принялись снимать.

— Все в печь, там вши и зараза может быть, — командует беззубый бас.

Никаких вшей нет, это у Насти вши. Или у Нинки? Но пусть сжигают, значит, новое дадут.

— Чаю, чаю мне сладкого. Слышали, что доктор сказал?

— Эта доходяга еще нас с тобой переживет, — опять беззубый бас. — То пирожков ей, то чаю сладкого. Хлеба не просит, не-е-е.

— Карточки украли, нет больше хлеба, — выдохнула разом и во тьму провалилась горячую...

Светло как! День уже, а она все лежит. И никто не разбудит, не скажет: иди, мол, Любаха, за водой сходи, дровишек каких поищи. А за хлебом-то! Ведь опоздала, не достанется хлеба сегодня! Так ведь за хлебом теперь не получится, КАРТОЧКИ УКРАЛИ... А Нинка с Настей почему молчат? Неужто померли? И почему кроватей так много? Что это вокруг? Ведь не их комната, а громадная, прямо зал. А-а-а... так это больница, она в больнице лежит!

Надо оглядеться, что тут за порядки. Кровати посреди зала в два ряда стоят, спинка к спинке, тумбочки справа, кое-где табуретки. Молчаливый народ лежит, только кашляют, разговоров никаких. Встать бы да пойти туалет искать. А вот и тапки: большие, войлочные обрезанные валенки. На спинке кровати — стеганый серый халат. Да не халат вовсе, а длинный ватник с торчащей кое-где ватой. Надеть и скорее идти. Вот коридор, никого нет. Так, тут что? Палата такая же, как у нее, и так же все молча лежат, не понять, кто живой. А здесь? Кабинет со шкафами и столом посередине.

— Тебе чего, мальчик? — из-за шкафа появляется фигура в белом халате и косынке, видать, медсестра.

— В туалет надо, — Любаха дотрагивается до своей головы и натыкается на короткий колкий ежик волос. — Только я девочка, Люба Бологовская.

— А, ты из седьмой? Та, что без карточек? Молодец, что встала. Иди направо, за угол заверни.

Сколько уже времени прошло? Час? День? Неделя? А она все лежит в этом громадном зале, как больная. Но ведь она вовсе не больна, ослабла малость, силы потеряла. Надо просто поесть, горяченького попить, и можно встать. Вон по коридору каталка едет. Или покойника везут, или еду. Остановились, вот и дверь открывается. Ведро и кастрюля — значит, поесть дадут.

— Эй, кто ходячие? Обедать.

Несколько теней встают с кроватей, Любаха быстрее всех. Боком, боком и уже первая у каталки. В миску плюхнули баланды, в ней труха какая-то плавает, а запах! Пахнет чем-то жареным. Хлеба три куска дали и чай. Да еще с сахарным песком! Ложкой из банки достают — и в кружку. Скорее поесть, может, добавка будет.

— Бологовская, раз ты уже ходишь, помогай раздавать. Да покорми кого сможешь.

Покормить — это можно. Вот, бабушка, тебе супчику. Сама есть стала, идем дальше. А эта спиной повернулась, спит, что ли? Эй, гражданочка, обедать давайте! Холодная уже. Тут больная умерла, слышите? Ну, а здесь у нас кто? Вроде дед, весь в седой бороде. Дедушка, пора обедать! Ага, шевелится, значит, будем кормить.

Вот это другое дело. Что толку лежать, шевелиться надо, двигаться больше. Так доктор сказал: будешь двигаться — будешь жить. А ведь жить хочется! Особенно теперь, когда кормят каждый день.

Потом на кухню: посуду мыть. Ей разрешили. Кастрюли большущие с пригорелой

кашей. Только велели быть осторожной. Ну, чтобы не переедать, а то может скрутить в одночасье. Любка понимает, перерывы делает. Отскребет пригорелую кашу от дна кастрюли — до чего вкусна эта пригорелая корка! — всю сразу не ест. Вообще сама все не ест, таскает в палату двум маленьким девчонкам, они на поправку пошли, есть начали, а выписывать их некуда — дом разбомбило, все погибли, пока они к реке за водой ходили. Нянечка сказала, что в детдом их отправят скоро, а пока Любка их подкармливает.

Так весь день и ползает: то судно выносить, то кормить, то посуду мыть. Но к вечеру сама валится без задних ног. Вот тут-то они и подступают со всех сторон: мамка, батя, Нинка с Настей, соседка тетя Вера. Молчат, только смотрят на нее, на руки ее смотрят, в которых она миску с пригорелой кашей держит. Так нате, поешьте. Любаха протягивает им миску, а там уже ничего нет, все раздала. И Лёвушка, сын крестной, тоже здесь, улыбается, а сам голову опустил, пилотку в руках мнет.

— Лёвка, ты живой?

— Ну, а сама как думаешь? — и тут поднимает глаза, а это и не Левка, оказывается, а Лёня, тети Веры сын, который в эвакуацию с училищем уехал. Ей стыдно, что она его перепутала. Хотя Лёвка, Лёнька — похоже, может и не заметил.

— Ты ведь уехал в Самарканд. Уже вернулся? А знаешь, ведь мама твоя...

— Знаю, потому и вернулся, ведь надо похоронить по-человечески, а то ее со всеми в одну яму сбросят.

Любаха молчит: как ему сказать, что уже похоронена тетя Вера и в одну яму со всеми положена. Так теперь всех хоронят. Но пусть сам узнает, не от нее. Вот он поворачивается, и все тоже поворачиваются и уходят, только Настя медлит, силится что-то сказать, губы разъезжаются: то ли засмеется, то ли заплачет. Отвернулась и за остальными пошла...

— Доктор, а можно я еще у вас тут в больнице поживу? Я ведь не просто так, я помогаю.

— Конечно, поживи, Любаха, живи сколько хочешь.

— А мои-то как? Они приходят каждый вечер, ничего?

— Пусть приходят, нам не жалко. Главное, чтобы ты ночью спала, не колобродила.

— Так я и сплю ночью, за день набегаюсь и сплю.

— Ну, не всегда спишь. Сегодня ночью кто палкой стучал и всех перебудил?

— Кто стучал? Я не знаю, кто стучал, а я спала, ничего не слышала.

— Нам же всем утром вставать на работу. Томася так и пошла, не выспавшись, все к тебе бегала, ты есть просила, а сама так ничего и не съела.

— Ну не буду, не буду больше. Это все они, приходят голодные, мне их жалко. Особенно Нинку с Настей, ведь они без карточек остались. Хотя, наверно, померли уже.

— Так они все давно померли, Любаха. А мы пока живые и хотим ночью спать.

* * *

Пианино появилось у мамы после переезда, когда по случаю рождения двойняшек совхоз выделил семье полдома в три комнаты. Раньше ему просто не было места. Увеличенная площадь сама по себе ничего не решала. Везти громоздкий инструмент из города было хлопотно и дорого. Помог случай: из соседнего военного городка Каменка уезжала семья офицера. Вот тут и совпали интересы офицерской жены и Марусиной мамы. Недолгие переговоры, стремительный торг и — пожалуйста! — уже через день пианино было доставлено на грузовике под защитным тентом, с предосторожностями выгружено и занесено в гостиную — самую большую комнату дома. Дядя Саша пришел с работы, а оно уже стоит на самом почетном месте, оттеснив комод в крохотную спальню. Он только крякнул с досады, но потом,

обдумав, смирился и даже повеселел, решив, что теперь Любушка будет поменьше порхать с гитарой по совхозу.

Народ потянулся смотреть невиданную для деревни вещь — пианино. Старинное, матово-черное, с бронзовыми подсвечниками по бокам и костяными желтоватыми клавишами. Вещь солидная, антикварная. Маруся сунулась было побренчать, но мама категорически запретила даже поднимать крышку. Она сама его настроила, для чего два раза ездила в Ленинград покупать инструменты: камертон, настроечный ключ, клинья, а потом колки и струны для замены.

Когда все было готово, собрались гости, и мама, нарядная и загадочная, села на специальный вращающийся стул, который шел к инструменту бесплатным приложением. Она подняла крышку, секунду промедлила с застывшими над клавишами руками, а потом сделала очень быстрый взмах правой рукой в сторону гостей, захватив в этом взмахе летучие, вибрирующие звуки. И не дав опомниться, понеслась руками в обратную сторону, выбивая из загудевшей клавиатуры бравурную мелодию. Маруся чувствовала, как мамины пальцы, касаясь гладкой, скользкой поверхности клавиш, каким-то образом касаются и ее, Марусиной груди, оставляя на коже пупырчатые мурашки.

Остальные, похоже, ничего такого не ощущали, слушали с застывшим почтением, молча. Только сосед дядя Ваня, дождавшись паузы, добродушно произнес: «А кроме Шульберта сыграть что-нибудь можешь? Так, чтоб подпеть или сплясать». Мама усмехнулась, тряхнула кудрявой завитой головой и всех к столу пригласила — выпить-закусить. И сама пила наравне с мужчинами, а потом развернулась к пианино и, еще не присев на круглый стульчик, заиграла шумно и лихо, временами срываясь неверными пальцами с полировки клавиш. Но этого никто не замечал, народ громко подпевал, заказывая все новые песни. Мама то соглашалась и играла, то мотала головой и предлагала лучше выпить. Концерты продолжались до середины ночи, пока не кончалась выпивка. Мама их называла «исполнить Шульберта», но при Марусе они случались крайне редко. Стеснялась мама своей городской дочки.

4. Ремесленное

— Ну, Бологовская, будем тебя выписывать.

Любаха сидит в кожаном потертом кресле в кабинете у доктора, Григория Давыдовича. Тот не смотрит на Любку, он разглядывает и протирает свои очки в черной оправе с примотанной изолентой дужкой. Доктор провел обычную бессонную ночь, и небритые щеки усиливают тени от скул.

Когда-то это должно было случиться, ее и так держат в больнице почти два месяца. Она бы и жила тут, пока война не кончится, но надо идти домой. Только что ей там делать, ведь никого нет. Да и привыкла она уже, прижилась, как-то страшно уходить. За это время поняла с однобоким сознанием внезапно разбуженного человека, до какой черты вымирания она почти дошла. Теперь-то что, жить можно! Перестали мучить мысли о еде, зубы меньше шатаются — все благодаря сосновой трухе, которую в кашу сыплют. А что ей одной дома делать? Нинка и Настя умерли. Крестная на казарменном положении, домой почти не приходит, Ленушку перекинули окопы рыть, остальные где-то сгинули в эвакуации — ни слуху, ни духу.

Как бы читая ее мысли, Григорий Давыдович поднимает голову: «Шла бы ты в ремесленное учиться. На „Красный Октябрь“, тут недалеко. Специальность получишь, паек рабочий дадут и кормить будут три раза в день. Там и общежитие есть, если тебе пойти некуда. Вот я записочку дам к директору, лечил его после ранения».

Любка выходит из дверей больницы, скашивает глаза на то место, где она чуть не замерзла насмерть. Спасибо доктору, спас он ее. И записку вот дал, и объяснил, как

добраться. Хотя Любаха хорошо знает Васильевский, дорогу найдет, но все же Григория Давыдовича слушает, не перебивая, — может, никогда больше и не увидятся они, кто знает? И он все подробно разъясняет: до Среднего дойти, там повернуть направо и идти к Восьмой линии, а потом так по ней и двигать в сторону Малого проспекта.

Вот выходит Любка на улицу, а там уже весной пахнет. Сугробы низко осели, почернели, ручейки бегут, образуя озера в разбитом бомбежками асфальте. Небо такое нарядное, голубое, чистое, и не верится, что война где-то гремит-полыхает, что это только временное затишье. Мертвая тишина блокадного города...

Хотя за два больничных месяца Любаха немного стала на человека похожа и голодный бред почти отступил, но она все помнит. И всегда будет помнить. Война закончится, они победят, снова будет вдоволь еды, будет хлеб, настоящий хлеб. Ешь сколько хочешь! И бомбежки прекратятся, и метроном перестанет частить, а будет спокойно отсчитывать мирное время. Только надо потерпеть, надо все перетерпеть и выжить. Обязательно выжить!

— Я живучая, все выдержу, — Любаха повторяет это на выдохе, в такт шагам. Только ноги плохо слушаются, вроде на месте топчутся. Никакого ветра нет, а стена воздуха впереди осязаема. Давит, давит, вперед не пускает. Похоже, и к вечеру не дойти...

— Вот поднялся Вяйнямейнен,
стал на твердь двумя ногами
там на острове средь моря
там на суше без деревьев, —

голос Томаси успокаивает, и будто нет никакой войны, блокада снята, и все вернулись живые и здоровые.

Это из «Калевалы», у крестной была такая книга, семейная реликвия. В детстве Любка местами наизусть ее знала. Как хорошо, что Томася ей читает каждый вечер, сама она уже не может: не видит ничего, и очки не помогают.

— Читай, читай, доча. Это наша родовая книга. Бывало, крестная ее наизусть нам пересказывала. Мы с Лёвкой тоже многое помнили. Да вот ушел он на войну и сгинул.

Многие сгинули, а некоторые вернулись. Стоят у своих домов, курят, рады, что живы остались, что ждали их. И батя такой веселый, Любахе руку подает, вперед тянет и пальцами щелкает, подгоняет:

— Не бойся, Любка, мы с тобой сильные, выживем. Обопрись на меня, и пойдем. Высоко подниматься, долог и труден путь, неприступны преграды, но в конце пути ждет нас... Ты ведь знаешь, Любаха, зачем нам на эдакую верхотуру забираться надо?

Знаю, знаю, он там. Единственный остался с прежних времен. Только бы на него посмотреть, руками дотронуться. Столько о нем говорили, но увидеть пока так и не пришлось. А он ведь с прошлого века там стоит. Тяжеленный, огромный, ни в какие двери не пролезает. Так и будет стоять, пока здание не рухнет. В гражданскую стоял, в революцию выстоял, и сейчас стоит, ни одна бомбежка его не задела.

— Ты спишь, что ли, мамулечка?

— Не сплю я, некогда мне спать, надо в ремесленное затемно успеть. Ноги, ноги мои подводят, никак не хотят идти... Сил нет, а то бы я бегом побежала, там скоро ужин начнется. Успеть бы, каши поесть, чаю горячего...

— Ты, видно, проголодалась? Сейчас мы тебя мигом накормим.

— Сделайте доброе дело, дети мои. Покормите свою мамку, может, и жива она останется.

— Еще бы! Живее всех живых. Ты щей хочешь?

— И щей, и все, что не доели, все буду есть.

Как же ее звали, черненькую, маленькую, одни глаза на лице? А Камой ее звали. Вот дружба настоящая, таких друзей теперь нет. Еще Тоня и Зина неразлучные, все шепчутся, а потом обязательно Зина говорит, а Тоня молчит.

— Знать бы, где зарыты автоматы для фортепианной механики, мы бы сразу дело наладили, — мечтает Кама.

— Это когда было? Еще в начале войны. Никого уже и в живых-то нет. Да и где взять древесину? Ель клавиатурную, граб? А чугунные рамы, сукно, целлулоид — кто нам все это даст? — Зина не верит в затею. Их задача — помогать фронту, делать деревянные противотанковые мины. И футляры для партизанских радиоприемников, и лыжи, и крылья для самолетов. А не пианино. Кому они нужны — в разгар войны?!

Нужны, раз партия и правительство такую задачу ставят. Говорят, что консерваторию открывать собираются, на чем студентам учиться? Любаха уже все обдумала. Главное, что их взяли на обучение к Дмитрию Кондратьевичу. Ему, их любимому мастеру, поручено восстановить производство пианино. Плохо то, что померли все, кто в начале войны закапывал эти автоматы, а без них механику не сделать. Вернее, сделать можно, но в десять раз дольше и хуже.

— Ничего, Любка, и без автоматов обойдемся, — заклеив языком самокрутку, произносит Дмитрий Кондратьич. — Я вас всему научу. Будете сами струны навивать, механику устанавливать и регулировать. Корпуса вы уже делать умеете, фанеровать тоже. Должно у нас получиться не хуже, чем до войны...

До чего крута лестница, как много ступеней! Но сегодня она наконец доберется до заветной двери. На четвертый этаж никто не ходит, нет ни сил, ни надобности... А ей надо, ей очень надо! Здесь, за массивной дверью с резными виноградными листьями и птичками поверху, в полутемном зале затаился, ждет своего часа старинный черный рояль на трех точеных ногах. О нем все давно забыли. Пылью, как пеплом, подернут, но даже отсюда видно: на передней панели тусклым золотом отсвечивает «J. Becker».

Подойти, открыть крышку... Вот они, знаменитые беккеровские клавиши. Дмитрий Кондратьич про них рассказывал. Беккеру удалось сделать так, что сила звука напрямую стала зависеть от силы удара по клавишам. Там должна быть регулировка боковыми деревяшками с винтиками. А самое главное изобретение — проще простого! — струны помещены не сверху доски, как обыкновенно делается, а снизу. Поэтому они встают намертво, и тон получается необыкновенной чистоты, а настройки долго сохраняются.

Все у Беккера придумано просто, такой он был гений. Рояль — это вам не пианино, совсем другой инструмент. Само устройство клавиш, их механика — все другое. Только на рояле можно много раз и очень быстро нажимать на одну и ту же клавишу: рояльный молоточек может повторно ударять по струне, когда клавиша еще не успела подняться. Вот Любаха сейчас и проверит...

К примеру, эти ноты 7-й симфонии Шостаковича — недавно Кама их принесла, Любка немного выучила. Надо попробовать... Для начала взять несколько аккордов. Как здорово! Такой глубокий и чистый звук! Как будто рояль только что настроен, а не стоял две зимы без тепла. Вот это инструмент!

Вековечный Вяйнямейнен
всё на кантеле играет,
всё поёт, и всё играет,
и без пения ликует.
Звон летит к жилищам лунным,
радость — к солнечным окошкам.

— Читай, читай, доча. Ты читаешь, а я крестную вспоминаю. Она про все нам рассказывала: про Похью и Сариолу, Илмаринена и Ловхи. А потом началась война, блокада. Топить было нечем, и сожгли нашу родовую книгу.

— Нет, мамуля, не сожгли. Вот она, у меня в руках. Я же тебе ее и читаю. Видишь, какая она старая, склеенная вся. Ты же сама нам говорила: берегите, девки, родовую книгу, мы и бережем...

Никто не знает, но Кама уже давно учит ее играть. У них дома осталось старое немецкое пианино, не сожгли за две зимы в буржуйке. Мать Камки работала до войны в кинотеатре, создавая фон немым фильмам, а как звуковое кино появилось, стала играть перед сеансом. Она и Каму к музыке приохотила, но та решила стать настройщицей и поступила на «Красный Октябрь» еще раньше Любахи.

— Ты что, Бологовская, здесь делаешь? Все у станков, норму выполняют, а она за рояль уселась! И кто тебя надоумил сюда забраться? Видно, мастер ваш, Фёдоров, пропаганду разводит, с толку вас, дурочек, сбивает. Фронт от нас ждет отдачи, самолеты чинить нечем, партизаны без раций пропадают, а она тут на рояльке наигрывает! — В дверях Катя Синицына, секретарь комитета комсомола. За ее спиной маячат какие-то тени, проступают серые лица, осуждающе качаются справа налево, слева направо... Так это ребята, чья смена закончилась. Вот среди серого блеснуло светом, остро так и весело — Кама улыбается ободряюще.

— Я задержусь, отработаю, а Дмитрий Кондратьич ни при чем, он меня сюда не посылал. В библиотеке мне подсказали... — Голос Любахи пресекается: ведь никаких имен лучше не называть, а она, растяпа...

— Поня-я-ятно, еще и Вера Гавриловна вредные мечтания подогревает, ей бы в цех, да по двенадцать часов у станка постоять, живо бы про свои буржуйские дела забыла. Чтобы я вашей музыки больше не слышала! Марш за работу!

— Нас взяли пианино собирать, а не мины. Сам директор обещал меня выучить на настройщицу, и план по пианино тоже есть, я знаю!

Как язык у нее поворачивается такое говорить и еще кому?! Самой Синицыной, ее все вокруг уважают и боятся, даже Дмитрий Кондратьич тушуется, хоть он вдвое старше. Но серые, усталые лица уже выходят из тумана, проявляются бликами оживших глаз. Дети, маленькие старички и старушки, с интересом смотрят на нее, на Любаху — что-то сейчас будет?

Молвил старый Вяйнямейнен:
«Не страшны твои угрозы,
ни мечи твои, ни знанья,
ни стремленья, ни хотенья.
Только все-таки, но все же
ни за что с тобой не стану
измерять мечей, несчастный,
на клинки смотреть, ничтожный!».

— Я запрещаю тебе, Бологовская, притрагиваться к роялю до конца войны. Иначе поставлю вопрос о твоем членстве в комсомоле. Ну, а с бригадой Фёдорова, считай, что распрощалась, — Катерина развернулась было, чтобы уйти, но Любаха какой-то неведомой силой подхватилась и через секунду была возле окна. Открыть его, скорее открыть. Черт, шпингалет заржавел! Так, на подоконник встать и раму на себя! Вот она отлетела с треском разрываемых многолетних слоев газет, теперь вторую раму рвануть... Только вниз не смотреть, сделать шаг и...

— Люба, Любочка, ты что? Ты что придумала? Не двигайся, замри, я тебя сейчас сниму. Глупая, я ведь пошутила. Играй, играй сколько хочешь! Нам настройщицы скоро понадобятся, а ты музыке училась. Садись, поиграй что ты сейчас играла. Очень правильная музыка, патриотичная. С такой музыкой мы фашистов будем гнать до самого Берлина. Ну, садись за рояль, мы послушаем. Играй, играй...

Это что, ее руки? Откуда коричневые пятна, набухшие вены? Кожа висит как тряпка. Вот до чего голод довел! Старость пришла к ней, молодой девчонке. Преждевременная старость пришла, и ведь не пожила нисколько...

Только пятнадцать исполнилось, день рождения осенью был. Никогда не отмечали, а тут вдруг решили. Крестная принесла свой военный паек, нашлось немного прошлогодней сливянки, присланной еще батиными сослуживцами на день ангела. Настоящий день рождения, с подарками, патефоном и угощением. Только друзей почти не было, все эвакуировались.

Нинка с Настей сидят нарядные, лучшие платья надели, волосы по-взрослому закололи. Ленушка достала из шкафа пластинки, и они танцуют, а крестная рассказывает, как их семья в Карелии раньше жила, мучные склады ее отец держал, и хлебом торговали в Петрограде, своя лавка была или даже две. Но это давно, она тогда маленькой девчонкой была. А теперь крестная вся высохла, и Любаха вся высохла, они обе теперь — как две старухи...

— Я есть хочу, я голодная, принесите мне хоть что-нибудь. Неужели вам не жалко меня? Я столько дней не ела, хоть корочку хлеба!

— Любаха, ты что? Ты ведь недавно обедала. Твоя любимая жареная рыба, с корочкой, как ты хотела, потом овощи со сметаной и кисель из черники. Ты что, забыла, моя дорогая, моя любимая мамочка?

— Придумываете все, лишь бы экономить на СТАРУХЕ.

— Ты и не старуха вовсе, а мамочка, Любаха, любимая наша мамуся.

— Так принесите мне поесть. Батя, дай своей доченьке поесть чего-нибудь. На язык положить вкусного. Что у тебя есть?

— Всего полно. И овощи, и рыба остались, а я пирог пеку, как ты любишь — с грибами.

— Так, господи же, все у них есть, а СТАРУХУ голодом морят!

— Несу, несу, мамочка...

* * *

Приезжая в Ленинград, мама обычно шла к Эльке, своей подруге детства. Всего-то надо было спуститься этажом ниже, нажать на самую верхнюю кнопку звонка и ждать, прислушиваясь к квартирным шорохам. Тетя Эля жила с дядей Васей в узкой маленькой комнатке уютной коммуналки, где соседи больше походили на родственников.

Маруся шла с мамой — а как же иначе? — вдыхала запахи тети Элиной квартиры (в ИХ квартире пахло совсем по-другому), располагалась в единственном плюшевом кресле и замирала, не выпуская маму из виду. Дядя Вася разливал водочку, настоянную каждый раз иначе: то на апельсиновых корках, то на жгучем красном перце или на калгане — от него получался цвет коньяка. Тетя Эля заводила патефон, и всю квартиру заполнял высокий бас Федора Шаляпина: «Из-за острова на стрежень...»

Марусю угощали «хворостом»: его пекла старенькая тети Элина мама, которая жила на Петроградской, была бодрой и самостоятельной. Маруся ее никогда не видела, а знала исключительно по «хворосту», который раз в неделю дядя Вася привозил от тещи. Сама же тетя Эля готовила редко, доверяя дяде Васе это ответственное дело. Детей у них не было, зато полноправно жил кот, видимо сибирский, большой и пушистый, и звали его Тарзаном. Его миска и горшок стояли тут же в комнате возле двери, но, как ни странно, никаких запахов не было.

Маруся прислушивалась к разговорам, но мало что понимала. Самым главным для нее было — ни на минуту не расставаться с мамой. Но она знала, что наступит

такой момент, обязательно наступит, всегда наступает: мама остается, а Маруся уходит. Или Маруся остается, а мама, делая вид, что все в порядке и что она ненадолго, берет в левую руку большую черную сумку с веревочными ручками, а правой открывает замок двери, роняя через плечо: «Ну, поехала я, а то опоздаю». Маруся стоит молча, следит глазами, как в проеме двери в последний раз возникает мамин профиль, а идущая следом бабушка что-то говорит напоследок, но Маруся уже ничего не слышит: она глохнет от подступивших рыданий.

А пока все хорошо, и мама рядом, оживленная, красивая. Маруся ловит каждое ее слово, каждое движение артистичных, уверенных рук. Дядя Вася с тетей Элей тоже довольные, шутят и жизненные истории рассказывают, которые Маруся слушает вполуха. Но поневоле что-то запоминается и становится как бы кусочком и ее жизни. Особенно все эти «а помнишь?»

— А помнишь, как мы на танцы после войны ходили? — заранее сощурив в усмешке глаза и подняв левую бровь с хохолком, начинает мама.

— Ну как же, все помню, — чуть картаво рокочет тетя Эля, деликатно откусывая хвостик у шпроты. — Особенно тот раз, когда ты в моих туфлях пошла. У тебя тридцать восьмой, а у меня тридцать шестой, да еще туфли новые, не разношенные. Ох, уж я тебе тогда не позавидовала.

— Так у нас кроме сапог ничего не было, — задним числом оправдывается мама. — Правда, к концу танцев мне казалось, что у меня вместо ног натирающие протезы, как у Федьки-борца из шестой квартиры. А туфельки твои до чего хороши были: черненькие, лакированные, с тоненьким ремешком.

— Ну, туфли оказались безнадежно испорчены, зато у тебя, помнится, тогда отбоя от поклонников не было, ты вся излучала загадочность неземную. Не такая полундра, как обычно. Да и платье мое тебе очень шло, а на мне сидело как на доярке, — тетя Эля любила преуменьшать свои достоинства, на комплимент напрашивалась. Дядю Васю провоцировала. А тому хоть бы что: доярка так доярка. Ему тетя Эля нравилась в любом виде.

Потом приходила бабушка и забирала Марусю делать уроки, а так не хотелось уходить! Ну еще полчасика, ну, мама, скажи, что мы вместе скоро придем... Тут мама поддерживала бабушку, обещая Марусе, что не задержится надолго. Но Маруся ложилась спать, а мамы все не было. Бабушка ходила, поджав губы, и разговаривала сама с собой, до Маруси доносились только обрывки: «Будут гудеть до утра... Ребенком прикрывается, а сама... Вот придет, я вопрос ребром...»

Но утром все было тихо, мама сидела за столом, а бабушка хлопотала возле нее: «Может, за кефиром сбегать?» А мама пила чай и подсчитывала, когда ей нужно выходить из дома, чтобы не опоздать на электричку. Бабушка то и дело принималась тихонько увещевать маму: «Зачем ты к ним ходишь? Ты ведь знаешь, что ей пить нельзя, она в психушке лежала, из петли вынимали. И как ее Васька терпит? Давно бы ушел к своему ребенку, от этой-то ждать нечего».

Маруся понимала, что разговор идет про тетю Элю. Бабушка ее явно не любила, и каждый приезд мамы с хождением «в гости» вызывал у нее молчаливое порицание. Только на другой день, воспользовавшись маминым «недомоганием», она позволяла себе в очередной раз устроить тихий разнос тете Эле. Марусе было обидно: тетя Эля с дядей Васей ей очень нравились, и никогда ничего плохого о них она не слышала — ведь все же на одной лестнице жили. А главное — мама в такие минуты поругания молчала и не стремилась защитить свою подругу.

5. Саша

— Любка! Бологовская! К тебе пришли!

Вроде за окном кричат. Или у двери? Кто там мог прийти? Ленушку, что ли, с торфоразработок отпустили? А вдруг наши из эвакуации приехали!

— Уже иду!

Вот куда идти, толком не поймет. Совсем дурная стала от лежания. Из окна видна красная стена фабрики, там Зинка с Тоней за нее всю работу делают, чтобы Дмитрия Кондратьича не подвести. Им Любаху навещать некогда, норму на троих гонят до самой ночи, а еще и домой добраться надо...

— Ну, где ты там застряла?! Смотри, проворонишь свое счастье!

Да идет она, идет, вот только ватник наденет да обуется, не идти же в носках. И что еще за счастье такое? Доппаек, что ли, выдали? Тогда спешить надо, а то и отъесть могут. Не нарочно, а машинально, Любка сама так не раз делала. Вроде держит, сохраняет, а как отдавать — куска и не хватает. Такой морок нападает, как в бессознаньи: вроде и видит все, и речь понимает, и говорит даже, а во рту уже зубы что-то перемалывают, раз — и проглотила.

Вот и приемный покой. Громко сказано, всего лишь пристройка: дощатые сени, изнутри фанерой обшиты для тепла. Да какое там тепло от фанеры! Буржуйка пока топится — еще ничего, но стоит погасить — холод собачий уже через полчаса.

Сегодня что-то печка не топлена. И никого не видно. Дверь, что ли, открыть? Господи, да что ж такое — лето на улице! А она — ватник, калоши... Память вовсе отшибло. И улица не та, нет ни фабрики, ни сеней дощатых. Так она же дома, на Шкиперке, вот и сквер, весь в грядках, народ копошится, сажают что-то.

— Вы Люба? — мужчина в морской форме, из ворот только вышел. Значит, он во дворе кричал, звал ее. Совсем незнакомый, а ее откуда-то знает.

— Ну я, а вы кто?

Стыдно-то как, ватник и калоши — это она спросонья напялила. Ей приснился фабричный стационар, где Любаха неделю пролежала в конце зимы. Сейчас время такое: только что деталь в тиски закрепила, тампон в полироль макнула — и вдруг лежишь под верстаком, пыль довоенную нюхаешь. Потом с силами соберешься, вылезешь потихоньку — и за работу.

— Я с поручением к вам от Элеоноры. Меня Александром зовут, можно Сашей.

От какой еще Элеоноры? Так это ж Элька, подруга самая-самая! Как в эвакуацию в августе 41-го уехала с мамой Ниной Георгиевной и тетей Адой, так ни духу ни слуху. Ни письмишка не написала. Любка думала, что померли они все. А что, всякое могло случиться. Многие до места не доезжали, по дороге умирали: кто от бомбежек прямо в вагонах, а дети от поносов — антисанитария в дороге, особенно ближе к югу. Оказывается, живы!

— А где она? Не приехала еще?

Конечно, не приехала, иначе бы уже здесь была. Квартира их на четвертом этаже так и стоит заколоченная.

— Нет, но скоро приедет. У них тетя Ада умерла этой зимой, а Элеонора с мамой домой возвращаются. Просили квартиру их подготовить, уборку там сделать. Я вам помогу, можете мной распоряжаться, — Саша четким движением приподнял левую руку, взглянул на часы, — до восемнадцати ноль-ноль.

— Но у меня нет ключа от квартиры.

— Вот ключ, мне его Нина Георгиевна дала и к вам велела обратиться, сказала, что вы квартиру знаете хорошо и поможете с уборкой.

Да, квартиру Любаха знает как свою. С детства прятались по шкафам. Не то чтобы подслушивали старших, а ждали, когда их хватятся. Очень интересны были

нелепые предположения, куда они могли подеваться: то в цирк поехали — это они-то, мелюзга, одни якобы в цирк отправились! — или по квартирам ходят, телеграммы разносят — как будто кто им телеграммы доверит! Правда, впоследствии, когда они уже в школе учились, Любка стала догадываться, что взрослые все про их фокусы знали и просто подыгрывали им, «искренне» удивляясь внезапному выкатыванию пропавших девчонок из дверок шкафа.

А еще Любка знает про один «секрет», который они с Элькой перед ее отъездом сделали. Во дворе, под липой, выкопали ямку среди корней и опустили в нее картонную коробочку от сережек, подаренных Эльке на день рождения. На атласную подушечку пристроили свои богатства: вставили на место в прорези дареные сережки — их брать с собой мама не разрешила, — а Любка положила рядом старинную «золотую» пуговицу, которую нашла на улице очень давно, еще до мамкиной смерти. Сверху прикрыли кусочком стекла и засыпали землей. Договорились, как только Элька вернется из эвакуации, «секрет» вместе открыть. И клятву дали: если выживут, никогда больше не разлучаться и не ссориться...

— Давай-ка мыться, смотри, какие руки грязные, в чем-то уделала, не оттереть. Небось опять памперс трогала.

— Да ну, Элька, руки как руки. Я уборкой занималась, всю квартиру тебе отскребла, двухлетнюю грязь оттерла. Сашка только хвалился, что поможет, а сам доски от дверей отодрал, ключ мне оставил — и куда-то делся, ищи теперь его.

— Ну и молодец, возьми с полки пирожок. А мыться все же будем. Вдруг кто придет: покажите нам Любовь Ивановну, скажет. Как вы тут за ней смотрите, хорошо ли ухаживаете?

— Что за мной ухаживать, я не маленькая. Вот поесть бы чего... Ты что-нибудь привезла, Элька?

— Сейчас, мамулечка, намою тебя и поедим. Я омлет с зеленью сделала, ты ведь любишь омлет?

— Я все люблю. Когда голод, не разбираешь что ешь. Тебе этого не понять. Ты в Самарканде так не голодала, там все само растет и бомбежек нет.

— В прошлый раз ты говорила, что тетя Эля эвакуировалась за Урал, а теперь — в Самарканд. Не вертись, я шею оботру.

— Холодно, вытирай скорее, есть очень хочется...

А в квартире пыли-то, пыли, все серое от пыли. Стекла почти что уцелели под бумажками крест-накрест, только в кухне осколки на полу, а в окне — небо, все в кудряшках облаков, и разрушенный дом напротив. Вот Александр воды принес, сейчас порядок наводить будем.

— А вы кто им будете, Красницким? Ну, Эльке с мамой?

— Да никто покамест. Познакомились в театре оперы и балета, эвакуированном в Пермь. Но надеюсь, что в скором будущем...

Ах вот они как жили, пока Любка с голоду пухла... По театрам ходили, небось конфеты ели в антракте. С офицерами знакомились, которые теперь полы готовы мыть. И ведь ни одного письма! А теперь, видите ли, приезжают, им чистую квартирку подавай! Любаха и свою-то не убирает. Для кого убирать, никто дома, считай, и не живет. Да и сил едва хватает, чтобы работать, и на дорогу. А они, значит, жили себе припеваючи, про Любаху забыли, решили, что она умерла, как сотни тысяч умерли...

— Я, пожалуй, пойду, мне отдохнуть надо, чтобы до работы дойти.

И уж к двери направилась, да только Александр удержал.

— Никуда я вас не отпущу, и помогать мне не надо, я сам все сделаю, только подсказывать будете. А пока мой вещмешок разберите, в нем для вас гостинец от Нины

Георгиевны. Чаю бы горячего я с вами вместе попил. И вообще, давайте на ты перейдем, к чему эти старорежимные выканья.

— Это можно. Только кипятку надо согреть, пойду к себе, печурку затоплю.

Вот это богатство! Три буханки хлеба, консервы — шесть банок, конфет целый кулек и пачка махорки! А еще небольшие пакетики: крупы разные, сахарный песок, чай, разноцветные обмылки.

— Нина Георгиевна дает уроки музыки детям первого секретаря Пермского горкома партии. И еще по хозяйству помогает, так что накопила всяких остатков. А хлеб и махорка — от меня.

Зря о них плохо думала, помнили о ней, крохами копили, чтоб посылочку передать. Александр, хоть и старшина второй статьи, так проворно всю квартиру убрал, как простой матрос.

— Так, значит, ты Элькин жених?

— Пока что нет. У нее другие поклонники, а я редко там бываю, успевает забыть. Как говорится — с глаз долой, из сердца вон.

— Ну, что ж, жди своего часа... А про какое счастье ты мне кричал? Которое я могу проворонить. Про посылку эту, что ли?

— Ничего я не кричал. В дверь стучал, было дело. Только никто не откликнулся, я во двор пошел на их окна посмотреть, целы ли. Уже хотел уходить, а тут ты навстречу.

— А как же меня узнал?

— Так я фото у Эли видел, где вы вместе сняты.

Мог бы не узнать! Теперь она лет на десять старше выглядит, зубы повыпадали, кожа серая, пергаментная, ногти обломаны. Да еще в ватнике среди лета.

Хотя ничуть не жарко. И откуда-то сильно дует... Закрыть бы окно, да не встать никак. Эй, Нинка, Настя, поднимитесь кто-нибудь и окно закройте! Нечего валяться, надо встать и делами заниматься, слышите? Да что ж они! Живы или нет? Эй, вы там, живы?

— Живы, живы, сейчас обогреватель включим. Чайку попьешь и согреешься. Блинков тебе принести?

— Еще спрашиваете, как будто не знаете, какой у меня паек. Сашка-то не приходил больше?

— Какой Сашка? У тебя их два было, ты какого ждешь?

— Выдумают тоже — два! У меня ни одного нет, это у Эльки морской старшина — Сашкой зовут.

— У тети Эли был дядя Вася. А Сашка-моряк был у тебя — Марусин папа. Ты что, Рыжова забыла?

— Ничего я не забыла. И Рыжова хорошо помню, на гитаре играл. Только он к Эльке сватался.

— Может, и сватался, мамуля, да женился он на тебе. На-ка блинчик с вареньем, Маруська привезла, сама протирала клубнику с сахаром. Ешь давай.

Вот, значит, как... И что Элька? Так просто отдала? Погоди-ка, погоди-ка, путают они все. Ведь Элька приехала, когда весна была. «Секрет» они разрыли, богатства свои детские нашли. И поклялись в вечной дружбе? Нет, не поклялись. Повзрослели они, клятвы смешными показались. А может, все же они поссорились? Из-за Сашки поссорились, что ли?

Саша, ты помнишь наши встречи
В Приморском парке, на берегу?

Именно там все и произошло. Хотя сначала была вечеринка. У Эльки дома, по случаю ее возвращения. Нина Георгиевна в ночь работала, и Элька собрала всех

подруг, кто вернулся. Сашка с другом пришел, бутылку вина довоенного где-то раздобыли, закуску скромную приготовили. Надеть Любахе было нечего, у Эльки пришлось юбку взять, да крестная из клуба скатерть старую принесла и блузку сшила — линялую, подкопченную, зато впору и любимого красного цвета.

— Проходи, Люба, все уже собрались. Какая ты нарядная!

— Здравствуйте, Нина Георгиевна.

И в большую комнату — шмыг. Там уже все за столом.

— А, Любаха пришла, можно начинать!

Он смотрит, украдкой поглядывает на нее, думает, что она не видит. Конечно, удивлен. Когда в первый раз встретились, она бог знает на кого была похожа, да еще в калошах и ватнике. Сейчас она совсем другая. Только что толку! Парней нормальных нету, одни шпингалеты под ногами вертятся. Вообще кругом только женщины, мужичонка самый захудалый, инвалид — на вес золота, хоть по карточкам выдавай. Только ей, Любке, все это неинтересно. Пианино делать, музыке учиться, комнату свою иметь — это да! А мужчины — не ее стихия. Никогда не понимала тех, кто бегает следом, предлагает портки постирать и страдает, если отказывают. Нет мужчин — и не надо!

Вот Кондратьич был, мастер участка, тот настоящий мужик. Жалко его, не дожил до конца блокады. Или доктор Григорий Давыдович, от смерти ее спас, а потом на фронт послали, и не вернулся. А взгляды такие ей знакомы, очень даже хорошо знакомы. Она обычно в ответ наглую морду сделает и матюгнется в пространство. Охоту быстро отбивает.

— Саня, сыграй нам что-нибудь веселое, — просит Элька на правах хозяйки и, видимо, невесты. Мать ушла, можно расслабиться.

— Так я веселого ничего не знаю.

— Ну сыграй что знаешь! Так! Выступает Александр Степанович Рыжов, старшина второй статьи. Просим! — Элька раскраснелась, гитару ему в руки сует. Саша перебирает струны, настраивается. Потом вдруг, усмехнувшись, со значением поднимает на Любаху глаза и берет первые аккорды. Ну-ка, ну-ка... Ага, эту песню она тоже знает, даже подыграть может. Потихоньку пробирается к пианино, открывает крышку, и вот они уже играют вместе, а все подпевают:

Саша, ты помнишь наши встречи
В Приморском парке, на берегу?
Саша, ты помнишь тёплый вечер,
Весенний вечер, каштан в цвету?

Глядит так весело, кивает одобрительно, подсаживается поближе и уже больше не отходит.

— А потом мы все пошли гулять в парк, вот тогда он меня и поцеловал. Один-единственный раз...

— Чего там, единственный. А кто замуж за него вышел? Маруську от него кто родил?

— Но только не я!

— Расска-а-а-зывай! Ну, не ты, так не ты.

А он руку на плечо положил, прижимает к себе, и они идут вместе, ступают в ногу. Сердце колотится, потом замирает, потом опять — как метроном в воздушную тревогу. На скамейку садятся, он ей свой китель на плечи набросил, обнял. Теперь она его сердце слышит: вот-вот выскочит.

— Главное, что война кончилась и все будет по-другому. Меня скоро демобилизуют, мы с тобой поедем к нам домой, в Ленинабад. Ты там быстро поправишься, ведь моя мама...

— Я ничего еще не решила. Давай не будем сейчас. И вообще пора домой возвращаться, крестная беспокоится.

— Ты что, опять передумала? Ведь мы договорились уехать.

— Я вообще не думала об этом. У меня здесь работа, родные. Я даже в эвакуацию не уехала, как твоя Элька, с чего я вдруг сейчас уеду?

— Что ты мне все про Эльку? Она не моя. Не мо-я!

— Хорошо, пусть будет не твоя. Но она моя подруга. Самая близкая, никого нет ближе ее. Она ведь ничего не замечает, ты хоть понимаешь? Она про свадебное платье с мамой говорила, планы строит. Как ты можешь и с ней, и со мной?!

— Да ничего с ней у меня нет, мы просто дружим. А замуж она за Ваську собирается, он сам мне сказал, — убежденно говорит Александр.

— За Ваську? За того рыжего карапета? Да она на него и не смотрит.

— Эх, Любаха, ничего ты не понимаешь. Элька просто любит, чтобы весь мир вокруг нее вертелся. Ей Васька рыжий мил, а Сашку Рыжова придерживает, — пошутил, нашелся.

— А ты сказал ей, что мы собираемся?..

— А ты сказала?

— Не сказала и не скажу. Ничего не решено. Всё, пошли по домам, у тебя увольнительная скоро кончится.

Где ты, милый мой, чудесной юности герой,
Весёлый Саша, и дружба наша, приятель мой?

— Т-сс, иди сюда, ну, иди же скорее...

— Нет, мне домой надо, вдруг крестная раньше вернется.

— Ты сама говорила, что до ночи ее не будет.

— Ленушка может приехать, что я ей скажу?

— Ну, с чего она вдруг приедет — середина недели. А я завтра уплыву, и неизвестно, когда еще увидимся...

— Ой, погоди, он смотрит!

— Кто там еще смотрит, дурочка?

— Кто-то в конце аллеи. Курит и смотрит на нас.

— Так он не видит ничего. Ну хорошо, пройдем дальше.

— Нет, не сегодня, давай потом, когда вернешься. Я боюсь. У меня никого никогда...

— Я знаю. Не бойся, ничего со мной не бойся. Ну, глупая, ну, Любаха...

— Нет, пусти, не надо, не надо! А-а-а...

— Гос-с-споди! Ты что, с кровати упала? Как же так? Все тебе бежать куда-то надо! Добегалась, теперь поднимай тебя, горе ты мое!

— Я боюсь, не надо, не трогайте меня!

— Как же не трогать, если ты свалилась на пол, вон как ногу ушибла, синяк большущий будет. Мне тебя и не поднять. Давай потихоньку, бери меня за шею. Держись крепче, ну помогай мне, ты же тяжелая! С такой широкой кровати умудрилась сверзиться. Тебе надо, как лялечке, кроватку с решеткой.

— Я хотела убежать, а он меня держал, я еле вырвалась.

— Ну все, уже никого нет, успокойся. Приснилось тебе что-то?

— Нет, не приснилось! Вот только что, только что он тут был. Ты пришла и спугнула его, теперь он больше не придет.

— Да кто не придет? Может, и не надо, чтобы приходил?

— А как хочет. Я ему сказала, если приедет насовсем — тогда пусть, тогда можно.

— Ну давай я тебе ногу натру и завяжу, а то приедет — а ты вся в синяках.

* * *

Маруся спешила к электричке, перешагивая через лужи и придерживая ворот капюшона. Как-то внезапно наступила осень, причем сразу холодная и дождливая. Будто самолетом из жарких стран прилетаешь: только что плескалась в море, а через три часа — бац! — того и гляди, снег повалит.

Маруся быстро нырнула в тепло тамбура, и состав тут же тронулся. Полупустые вагоны нехотя отошли от платформы, но потом встряхнулись, застучали бойко и деловито. Устроившись в уголке, Маруся равнодушно следила глазами за убегающими станциями, крышами, стволами облетевших берез.

Как быстро прошел этот праздник — лето! Молнией ослепил, оглушил громом грозового фейерверка, опалил игрушечными факелами внезапной жары. Вот только что, вот прямо на днях, валялась она на жухлой траве солнцепека, отворачиваясь от слепящих лучей. Прикрыв глаза, представляла, что все впереди, что ветки усыпаны набухающими почками, сквозящей прохладой тает забытый в низинах снег, небо высокое-высокое, и птицы летят, возвращаясь на родину из чужих, вечнозеленых краев.

А она, Маруся, сидит на «кукарешках» у папы — выше всех. Рядом, под ручку с ним мама, вкусно пахнущая «Красной Москвой», с мелко завитыми волосами, заколотыми с боков невидимками. Маруся плывет по бесконечной аллее Приморского парка, крепко сцепив руки замочком под свежевыбритым папиным подбородком. Лица ей не видно, его закрывает белый парусиновый круг офицерской фуражки. Ухают трубы духового оркестра, и народ гуляет чинными парами.

Вот маленькая и узкая комнатка на Шкиперке, где они некоторое время жили, пока не уехали в Ленинабад, к папиным родителям. Мама в своем нарядном лиловом, с павлиньим глазом, крепдешиновом платье стоит возле гладильной доски, тихонько поворачиваясь, а папа утюгом гладит ее юбку «солнце-клеш». Они опаздывают, и крестная неодобрительно гремит в кухне кастрюлями. Маруся снизу смотрит на маму, на ее стройные, обтянутые блестящими чулками ноги, узкое кружево розовой комбинации, возникающей моментами, когда папа подхватывает для глажки очередной шлейф «солнца». Мама, как всегда, подшучивает над папой, а он в тон ей зубоскалит, и они двигаются в каком-то ритуальном танце: мама, болванчиком переминаясь вокруг себя, папа, то и дело перехватывающий ее широкий подол, чтобы шипящим утюгом сбить с лилового «солнца» хмурые складки. Они так молоды, так веселы... Все впереди: и лето, и жизнь.

В Ленинабад ехали на поезде и добирались три дня — но Маруся этого не помнит. Зато она хорошо запомнила их с мамой возвращение, вернее, побег. Они убежали с небольшим фибровым чемоданчиком, ушли среди белого дня под носом у подозрительной и немногословной «другой бабушки» и до отхода поезда прятались между товарными вагонами в тупике станции. А потом долго-долго ехали в тесноте, лежа часами на верхотуре третьей полки. И до самого Ленинграда почему-то боялись, что их догонят и вернут. Но их никто не собирался догонять.

Только через два года папа попросил своего брата встретиться с мамой и уговорить возвратиться домой. Но ничего не получилось, и брат уехал, а Маруся с мамой остались жить в той же маленькой комнатке на Шкиперке, в одной квартире вместе с бабушкой. Маруся так и не узнала, почему они с мамой тогда сбежали и почему папа прислал брата, а не приехал сам. Когда она спрашивала об этом маму, та отвечала уклончиво или отшучивалась. Теперь уже не узнать. Мама не помнит Марусиного папу. Вообще все родственные связи в ее представлении сдвинулись, времена смешались.

— Ну конечно, вы теперь можете со мной не считаться — я всего лишь ваша дочь! — произносит она с театральным пафосом.

— Ты наша мама! — восклицают Маруся с сестренками хором.

— Мама? Чего только не придумают, чтобы от меня отделаться!

В Выборге Маруся быстро нашла такси и уже через несколько минут подъезжала к Томасиному дому, где мама жила последние пять лет. Окошко на втором этаже было открыто, и Марусе подумалось: вот лежит она, наша мамулечка, под скошенным потолком, одна лежит в комнатке, то спит, то грезит наяву. Только иногда осознает все четко и ясно, всех узнает, про внуков спрашивает и понимает, что они уже выросли.

А то рвется куда-то ехать, просит отвезти ее домой. А куда домой? На Шкиперке дом пошел на капремонт, в их квартире живут другие люди. В ее доме на Карельском перешейке поселилась Лелина семья, изъеденное жучком пианино выброшено. У всех своя жизнь, свои планы. Да и ей, кроме Томаси, которую она то и дело называет батей, никто не нужен. И еще родные, оставшиеся в той далекой блокадной зиме.

Иногда мама вспоминает про Эльку и просит кого-нибудь из дочек ей позвонить. А сама заранее волнуется: вдруг та не ответит, вдруг она уже... Но тетя Эля неизменно берет трубку, и тогда мамулечка вовсю бодрится и говорит нарочито небрежным тоном. А после задумчиво шепчет, разглаживая морщины на пододеяльнике: «Как она там одна? Ведь никого у нее нет. Случись что, и воды подать некому».

— Ну почему некому? — успокаивает Маруся, — к ней соцработник дважды в неделю приходит: в магазин сходить, пол помыть. И еще дяди Васина внучка — ну, из его другой семьи, с которой он никогда не жил, — она иногда заходит, помогает.

Но мама еще долго тревожится, то и дело повторяя: ей меня не пережить, нет, не пережить. А потом месяцами не вспоминает про свою подругу Эльку, а если и вспомнит, то прежнюю девчонку, закапывающую под липу свои «сокровища» перед отъездом в эвакуацию. Там, в маминых воспоминаниях, она и живет, спасается от войны. А потом приезжает, и они по очереди ходят на танцы — одни туфли на двоих — но разве в этом дело?..

Томася встречает на пороге веселая. Все отлично удалось, все, что задумано. От лица администрации маму приехала поздравить с юбилеем целая делегация — с цветами, подарками и открыткой из Кремля. На самом деле ничего такого не было, про маму власти давно забыли. Это Томаськины подружки постарались, благо мама теперь никого не узнает. Зато как довольна! Сидела с намытой и причесанной головой в новой красной кофточке и горделиво приговаривала: «Вот так надо жизнь прожить, чтобы все помнили. А как я их насмешила! Что ж, и директор поздравил, как ему такую хризантему не поздравить! Но я ему тоже многое могу сказать, он мужик с юмором. Юмор — вот что главное в людях!» И пела, даже гитару попросила, но она, конечно, не настроена. Томася подмигивает: мама давно уже не может играть, но гитару просит регулярно и каждый раз пренебрежительно возвращает — не настроена.

Маруся поднимается наверх, и еще с лестницы в нос бьет тяжелый запах. Несмотря на памперсы, мытье и постоянные переодевания, этот запах — запах старости и давно лежачего больного — проник во все уголки и щели. Букет осенних хризантем не в силах его заглушить. Но только в первые минуты. Потом притерпишься и не замечаешь. Маруся открывает узкую белую дверку. Мама спит, ее смешной седой «ирокез» торчит над подушкой, а рот раскрыт. Клоун ты наш любимый, все бы тебе смешить!

К вечеру все собираются вокруг мамы: Томася к ней под бочок заваливается, Маруся в кресло напротив, Лёля в ноги на кровать садится. Маруся вся в деда: много песен знает, голос не сильный, но приятный, мелодию не врет. Сначала поют песни маминой молодости, потом — Марусиной. Мама довольна, оживлена, тоже подпевает. Вдруг лицо ее становится растерянным, глаза моргают, уголки губ ползут вниз.

— Вот вы смеетесь, поете, а сами втихаря не думаете уехать, а СТАРУХУ здесь оставить?

— Ну вот, начинается... Куда ж мы отсюда уедем?! Никто тебя не оставит, скажи, Маруся.

— Конечно, нет. Всегда с тобой будем, наша доченька. Только чайку попьем, и от тебя ни на шаг. Поставь чайник, Томася.

Когда все ушли, Маруся села возле матери и прижала к губам ее худую узловатую руку с прозрачными пальцами. Мама смотрела куда-то вверх, в невидимое с ее кровати небо, а потом сказала Марусе: «Ну иди, я пока посплю». Но Маруся все никак не могла уйти, ей казалось, что маме будет очень скучно лежать одной, смотреть и не видеть осеннего холодного неба с белым росчерком неслышного самолета. А еще ей хотелось расспросить маму о блокаде, об отце, узнать наконец, почему же они расстались.

Но мама как будто ее не видела. Она прикрыла глаза, и Маруся уже было направилась к двери, но тут же оглянулась от ощущения, что за спиной кто-то стоит. Мама, чего уже давно не случалось, сидела на кровати, опираясь локтем на подушку и протянув к Марусе чуть дрожащую, голубую от выступающих вен руку. И вдруг произнесла ясно и взволнованно:

Дай последний раз поцелую,
моё сердце в твоё перелью,
А потом по широкой дороге
я уйду от тебя навсегда.

Никогда никого не любила
и сейчас никого не люблю,
Только сердце так сильно заныло,
я ушла далеко-далеко...

* * *

Любовь Ивановна умерла в среду. Томася была выходная, и утро начиналось как обычно: мама стучала палкой в пол, и Томася поднималась на второй этаж с чашкой чая в руках. В этот раз, глядя мимо Томаси, мама сказала: «Мне на завод надо, у бати сегодня получка, пойду встречу». Она попыталась встать, но не смогла и беззвучно заплакала. Ей стало тяжело дышать, в глазах все кружилось, а сердце стучало с перебоями. Томася дрожащими руками отмеряла капли, вкладывала в безвольный рот таблетки, заливая их водой из чайничка.

Мама лежала на высоких подушках, и выражение испуганной девочки не сходило с ее лица. Была вызвана «скорая», и, пока врачи ехали, Томася растирала маме спиртом ледяные ноги. Приехал доктор, вколол лекарство, и мама закрыла глаза, задышала ровно, засыпая. А потом и вовсе перестала дышать, как будто так и надо, как будто необходимое людям дыхание стало ей абсолютно не нужным.

Томася улеглась рядом с матерью, свернувшись клубком и обхватив колени руками. Вся мокрая от слез, лежала она с закрытыми глазами, уткнувшись в мамино неподвижное плечо, и говорила, говорила. Как все будет хорошо, как они заживут все вместе, как поедут к бате. Мама слушала молча, и это было так непривычно — она всегда что-то отвечала. Любила, чтобы последнее слово было за ней...

Любаха плыла на своей старенькой кровати по улицам-каналам Васильевского острова. Она плыла в сторону Гавани, по Шкиперскому протоку, мимо Весельной улицы — домой. А на берегах шла своя жизнь, и никому не было до Любахи никакого дела. Вот уже она пересекла Гаванскую, еще издали заметив, что возле парадной ее дома толпится народ, руками машет, встречает. Ее, Любаху, встречают! Тут и батя, и мамка с Нинкой и Настей, обнявшись, стоят. Саватеевы все до единого — нарядные, с цветами; соседка тетя Вера в рабочем синем халате — с ночной смены, видно, шла. А позади всех — крестная с сыном Лёвушкой. И так тепло, так радостно стало Любахе и в то же время так спокойно, как никогда раньше не бывало. Все кончилось, все позади. Наконец-то она дома!